



**Евсей  
ЦЕЙТЛИН**

# **Писатель на дорогах Исхода**

**Откуда  
и куда?**

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Евсей Цейтлин

**Писатель на дорогах Исхода.  
Откуда и куда? Беседы в пути**

«Алетейя»

2020

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

**Цейтлин Е. Л.**

Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда? Беседы в пути /  
Е. Л. Цейтлин — «Алетейя», 2020 — (Русское зарубежье.  
Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-00165-064-5

«Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда?» – название книги эссеиста, литературоведа и прозаика Евсея Цейтлина. А маршрут его литературных путешествий проясняют слова, которые не раз повторит автор: «Мы все еще идем по символической пустыне». В дороге читатель откроет для себя «землю неизвестную»: будни, проблемы, лица сегодняшней литературной эмиграции. Обычно, говоря о писателях зарубежья, вспоминают несколько известных имен. Внимание Евсея Цейтлина привлекают прежде всего те, кто «остался в тени».

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-00165-064-5

© Цейтлин Е. Л., 2020  
© Алетейя, 2020

## Содержание

Полет одинокой птицы	6
«Я сам по себе»	9
Путник	19
Конец ознакомительного фрагмента.	21

**Евсей Цейтлин**  
**Писатель на дорогах Исхода**  
*Откуда и куда? Беседы в пути*

Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»

© Е. Л. Цейтлин, 2020

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020

\* \* \*



**НЕЗАВИСИМЫЙ  
АЛЪЯНС**

## Полет одинокой птицы (Владимир Порудоминский)

В первые дни марта 1998-го я получил из Германии плотную стопку машинописных страниц. Это были воспоминания писателя Владимира Ильича Порудоминского. По странному, а, может быть, символическому совпадению повествование называлось: «В начале марта». Читателю, пожалуй, многое станет яснее, если я упомяну и подзаголовок: «Семейные мелочи 1953 года».

Весна в Чикаго – едва ли не единственное время, когда легко и спокойно дышится. Но, знакомясь с записками Порудоминского, я задыхался: текст был пронизан страхом – неотвратимым и едким, как дым крематория. Владимир Порудоминский рассказывал о собственных хождениях по мукам, в которое для него превратилось устройство на работу в самый разгар «дела врачей». Еврейский юноша, вернувшийся из армии, а до того окончивший редакторский факультет, ощущает плотную, хоть и незримую, стену, выросшую между ним и миром. Ну а откуда эти два слова в подзаголовке – «семейные мелочи»? «Конечно, *мелочи!* – настаивал автор. – ...Совесть не позволяет поименовать их иначе в пространстве и времени, где, по давнему слову, взглянув окрест себя, видишь страдания человеческие, горе и гибель».

Я думал тогда и о редком таланте мемуариста: его необычайно пластичный стиль схватывал и объединял в одну картину пронзительные портреты, случайные словечки, неслучайные умолчания эпохи, когда многое точно прочитывалось между строчками партийной газеты. Однако я не догадывался: эти воспоминания положили начало замечательной, поистине своеобразной прозе Порудоминского.

Иногда спорят: что же дает литератору эмиграция? Голоса спорящих, как правило, пессимистичны. А я часто вспоминаю при этом старого писателя Владимира Ильича Порудоминского: именно в эмиграции он обрел подлинное бесстрашие поисков.

Отвечая на одну из анкет, Порудоминский как-то написал: «Признаюсь, когда я уезжал из России, я был убежден, что моя активная жизнь, тем более профессиональная работа, завершена, и предполагал совсем иной сценарий своего дальнейшего существования. Но здесь я почувствовал раскрепощение, освобождение от многого, что меня угнетало, мешало в каждый данный момент жизни наиболее полно выявлять себя».

Кого-то это признание могло удивить – могло даже показаться: автор отодвигает от себя свои старые работы. Между тем в книгах Порудоминского никогда не было и налета конъюнктуры. Книги эти, выходявшие в популярных сериях «Жизнь замечательных людей», «Жизнь в искусстве», «Писатели о писателях», открыли тысячам, если не миллионам, читателей биографии, судьбы, художественные миры: Владимира Даля и Всеволода Гаршина, Николая Ге и Михаила Врубеля, Карла Брюллова и Николая Ярошенко, Ивана Крамского и Александра Полежаева, Ивана Пущина и Александра Афанасьева, Николая Пирогова и Ивана Голикова...

И все же Владимир Порудоминский был абсолютно прав, рассказывая о своем «раскрепощении» в эмиграции.

Говоря о работе писателя, часто вспоминают приветствие, которым обменивались в начале двадцатых годов прошлого века в Петрограде члены литературной группы «Серапионовы братья»: «Здравствуй, брат! Писать очень трудно...» Полезно однако задуматься – в чем трудность? Разумеется, не просто изо дня в день водить перышком по бумаге или часами сидеть у компьютера, ища точный образ. Но гораздо тяжелее отыскать – в самом себе! – новые творческие возможности, решительно уйти от себя прежнего. С каждой новой вещью «начинать все сначала», словно и не было десятилетий литературного труда.

Я не раз размышлял о том, почему проза Порудоминского, которую он стал писать в эмиграции, до сих пор по-настоящему не оценена, а его художественные открытия не осмыслены критикой. Причин тому две. Почти все, что публикуется писателями-эмигрантами, традиционно проходит мимо столичных рецензентов: в их представлении эмиграция – это далекая, скучноватая провинция. К тому же в самих произведениях Владимира Ильича есть свойство, делающее их как бы не слишком приметными.

В предисловии к книге Порудоминского «Пробуждение во сне» прекрасный поэт и критик Татьяна Бек так описывала свои попытки найти ключ к «загадке» этой прозы, жанр которой подчас трудно определить: «Литература повышенного правдоподобия? Автобиографическая эссеистика? Словесный рисунок с натуры? Так или иначе – перед нами лирическая проза, где повествователь (он же – главный герой) чрезвычайно близок к автору, но не тождествен с ним, ибо не эгоцентричен. Он сгущает в себе время, пространство, историю...»

Не знаю, формулировал ли когда-либо Порудоминский главную тему своих исканий. Но для меня очевидно: его, прежде всего, увлекает художественное *исследование памяти*. Один из его персонажей, в голосе которого легко узнаю интонации самого Владимира Ильича, размышляет: «Иногда я думаю, что это не мы по собственной охоте... вспоминаем прошлое, а оно требовательно напоминает нам о себе. Ведь оно только и живо, пока живем мы... Нас становится все меньше, и оно сужается, уходит, перестает существовать вместе с нами». Это одно из многочисленных определений памяти в прозе Владимира Порудоминского. Так – легко, вроде бы, между прочим – рождаются сюжеты его повестей и новелл «Похороны бабушки зимой 1953 года», «Пробуждение во сне», «Короткая остановка на пути в Париж», «Позднее время», «Трапезы теней», «Частные уроки».

Меня завораживает в этих вещах *течение* жизни. Иногда кажется: *течение* это бурно, непредсказуемо. Но потом, приглядевшись, замечаешь в происходящем четкий, хоть и не сразу различимый, *жизненный план*. Я почувствовал это в одной из первых повестей Порудоминского «Неоконченная соната». Героиня повести, пианистка, бессильно пытается ответить на вопрос: почему и для чего она выжила в Холокосте? Пытается уловить какой-то высший смысл в том, что произошло с ней (в гетто девочку-вундеркинда неожиданно спасла музыка). Смысл? Да ведь он прост: искать ответ. И по-своему выражать эти поиски в музыке. «За двадцать лет скитаний она поняла, сперва чувством, а после и умом, что, только постоянно передвигаясь по белу свету, она всюду своя...» Останавливаясь, героиня «тогдаш начинает чувствовать себя пчелой, которую видела однажды в энтомологическом заповеднике: пчела жила в улье, но была отделена от роя стеклянной стенкой». Героиня приняла странную неизбежность такого *ритма* своей жизни. Не поняла только: это и есть *ответ*.

Холокост подчеркивает, обостряет тему памяти.

Течение жизни, вдруг обнажающее истину, захватывает нас и в маленьком шедевре Порудоминского «Розенблат и Зингер». Мемуарный зачин опять максимально приближает к читателю происходящее. И вот они перед нами – двое погонщиков ослов в Ташкенте. Усмешка судьбы? Когда-то богатые торговцы бельем в Берлине и Вене, они теперь не имеют даже постели – спят на полу, в конуре под лестницей, в «каком-то логове из соломы и тряпья». Зато они, убежавшие от нацизма, владеют наконец-то истиной и даже пытаются передать ее еврейскому подростку из Москвы – тот, по счастью, бойко говорит по-немецки. Мальчик тоскует: в эвакуации он впервые столкнулся с антисемитизмом, а ведь «еще недавно я часто слышал от близких, что у нас, в Советском Союзе, мы позабыли, что мы евреи...»

Истине несколько тысяч лет, однако люди упорно отталкивают ее от себя. «...Розенблат смотрел на меня с сожалением; его веки были докрасна выжжены чужим азиатским солнцем. – Мальчик, – повторил он, – забыть есть взаимное дело. Мы тоже забыли когда-то, что мы евреи. По воскресениям Розенблат надевал черный фрак, цилиндр на голову, садился в коляску и ехал в кирху. Немцы улыбались мне и говорили: «Гутен таг». И я улыбался немцам, приподнимал

цилиндр и говорил: «Гутен таг». Но на другой день после прихода Гитлера оказалось: немцы не забывали, что я еврей. Они уже не говорили мне: «Гутен таг». Нельзя забывать, мальчик, что ты еврей, раньше, чем это забудут другие».

Почему еврейская тема неожиданно стала насущной для писателя («еврейские» вещи Порудоминского составили его сборник «Уходящая натура»)? Автор ответил на этот вопрос в одной из статей: «Мартин Бубер называл евреев “общиной, основанной на памяти”».

...В часы бессонницы я не раз в эти годы напоминал себе: в Кельне уже утро; спрашивал мысленно: что делает сейчас мой старший друг? Что у него нового? И, конечно, думал о «загадке Порудоминского»: разумеется, она не в сложных координатах его новой прозы, а в блистательной и всегда таинственной победе творческого духа над временем, которое жестоко, как ненужный листок календаря, обрывает наши дни, труды и намерения.

Когда-то Порудоминский написал вместе с историком и писателем Натаном Эйдельманом работу о болдинской осени Пушкина. Не сомневаюсь: эмиграция стала его собственной болдинской осенью. Я не пытаюсь сейчас даже перечислить сделанное им за эти годы.

Восемь лет Владимир Порудоминский обрабатывал и готовил к печати уникальный дневник, который вел в Виленском гетто его дядя Григорий Шур. Книгу перевели на многие языки, она имела шумный успех. А Владимир Ильич писал позже: «Близкое знакомство с материалами Катастрофы – одно из сильнейших переживаний моей жизни». Добавлю: это и важнейший источник его тихой, но зачастую потрясающей читателя еврейской прозы.

Меня ничуть не удивило то, что наряду со вселенской еврейской болью Порудоминского притягивала в те же годы и немецкая боль. Над книгой «Планк, сын Планка. Фрагменты ненаписанной биографии» Владимир Ильич начал работать, точно услышав чей-то негромкий голос. Оказалось, что в доме, где поселилась его семья, хранятся материалы о жизни Эрвина Планка. Сюжет этой трагической судьбы вобрал многое: Эрвин был сыном знаменитого физика Макса Планка, умным политиком, последним управляющим делами правительства Германии (до прихода к власти Гитлера), участником немецкого Сопротивления, наконец, был казнен после покушения на фюрера в июле 1944-го.

Именно в эмиграции Порудоминский подвел итог своим долголетним исследованиям о Толстом. Я держу сейчас в руках три книги Владимира Ильича, посвященные великому старцу из Ясной Поляны. Помню, меня поразила работа Порудоминского «Цвета Толстого» – свод необычайно интересных наблюдений о том, как в зависимости от эмоционального состояния героев меняются краски писателя. А книгу «Если буду жив или Лев Толстой в пространстве медицины» я уже давно вновь и вновь перечитываю – погружаюсь в космос Толстого: там посвоему сосуществуют и спорят «диалектика души» и «диалектика тела».

За героями и сюжетами произведений читатель, как правило, редко замечает автора. Одну из лучших своих книг Владимир Порудоминский назвал, вспомнив строчку псалма, – «Одинокая птица на кровле». Мне показалось: здесь есть и его негромкая исповедь, и своеобразная формула «жизни и творчества» художника.

...Все мы – в том числе и писатели – приходим в этот мир со своей особой миссией, которую должны осознать и исполнить. Эта мысль, повторяясь, тревожно звучит в книгах Порудоминского о строителях и хранителях русской культуры. Но о собственной миссии он, всегда избегая пафоса, говорить не любит.

Я позвонил ему через несколько дней после того, как ушла из жизни Надежда Васильевна – жена, друг, бесконечно дорогой ему человек. Даже через океан я почувствовал, как ему тяжело сейчас. Но Владимир Ильич произнес, думая о своем: «Надя уже свободна, уже выполнила свой урок».

Так сказать мог только человек, глубоко верующий в Создателя и в Его высший замысел.

*Май 2013*

## **«Я сам по себе»** **(Анатолий Либерман)**

*Не раз слышал: писатели боятся критических статей Анатолия Либермана. Не странно ли? Ведь пишет Либерман спокойно, не «сгущая красок», не вставая в позу судьбы. Откуда же страх? Наверно, именно оттого, что с тщательно аргументированными статьями Анатолия Либермана особенно не поспоришь: если уж он написал «А король-то голый!» – наверняка так и есть.*

*Можно удивиться другому: почему вообще появляются эти его статьи? Очень часто – рецензии на книги никому не известных авторов, ученые записки провинциальных российских вузов, эмигрантские альманахи. Между тем Анатолий Либерман – филолог с мировым именем. В «застойном» 1972-м стала сенсацией блестящая защита им докторской диссертации. У будущего доктора наук был по совковым понятиям детский возраст – 35 лет. Поэт и литературовед Елена Невзглядова припомнит: «... Актный зал Института языкознания не вмещал желающих, люди стояли в проходе, толпились в дверях. Его выступление выходило за пределы принятых в советских научных учреждениях казенных рамок...» («Звезда», С.-Петербург, 2004, № 12). Ну, а что сегодня? Уже более сорока лет Анатолий Либерман – профессор Миннесотского университета в США. Автор 17 книг, более 600 публикаций. Объехал множество стран, читая лекции в крупнейших университетах. Лауреат самых престижных научных премий.*

*Два разных портрета Анатолия Либермана. На самом деле – их больше. Амплитуда его научных интересов тоже могла бы вызвать недоумение, если бы не самые высокие оценки его трудов. А ведь есть и Анатолий Либерман-поэт, прозаик, мемуарист, переводчик.*

*...Предваряя встречу с ним, скажу еще о другом. Получив по электронной почте ответы Анатолия Симоновича на мои вопросы, я стал читать их и – не мог оторваться. Как всякий настоящий ученый, Либерман писал точно, «по делу». Но все-таки прежде всего он размышлял о Судьбе: о судьбе своей науки, судьбах героев собственных исследований. О судьбе русского филолога, горькой судьбе советского еврея, непредсказуемой судьбе эмигранта. Конечно, тут и был главный секрет притяжения его «прямой речи».*

*Не так давно ему исполнилось восемьдесят; потому в своих репликах я – ничуть не преувеличивая – подчеркивал достижения юбиляра. Однако легко заметить: Либерман всякий раз твердо отодвигал комплименты в сторону. Он ни разу не произнес, но, кажется, все время помнил отрезвляющие слова царя Соломона: «Все проходит...».*

*С этим невысказанным и все-таки очевидным напутствием я приглашаю читателя присоединиться к нашему разговору.*

*ЕЦ Комментаторы Торы иногда сравнивают мир с человеком, а человека – со Вселенной. Хочу для начала попросить вас о маленькой экскурсии в мир ваших главных профессиональных интересов. Мне кажется, этот «ликбез» необходим. Большинство читателей, к примеру, естественно и безнадежно далеки от лингвистики.*

*АЛ Наверно, логично начать с вашей фразы филолог с мировым именем. Конечно, спасибо за столь щедрое представление. Но – сделаю уточнение. Научное сообщество, по крайней мере, гуманитарное, сильнейшим образом подвержено моде, иерархично и разобщено. Моя специальность – язык и литература, но в обеих областях, конечно, лишь несколько больших разделов: германистика (в основном, историческая фонетика и этимология, то есть история звучащей материи и происхождение слов), фольклор и мифы. В каких-то пределах все эти*

вещи взаимосвязаны и дают выход в общее языкознание, средневековую культуру и прочие «общие» вещи. Вторая область моих исследований – поэзия русского Золотого века и перевод.

Двести и даже сто пятьдесят лет тому назад филологией занимались всесторонне образованные люди. Например, Якоб Гримм (один из братьев, известных по собранию сказок) был великим лингвистом и несравненным знатоком средневековой литературы, особенно германской, то есть немецкой, скандинавской и английской. Он, конечно, и тогда не имел себе равных, потому что был гением, но и многие его современники, в том числе и младшие, отличались замечательной широтой, а в классической филологии (греческие и латинские древности) такая широта еще почти до нашего времени считалась само собой разумеющейся. И главное: хотя, скажем, к шестидесятым-семидесятым годам девятнадцатого века, то есть ко времени, когда умер Гримм, объем печатной продукции по филологии стал очень велик, серьезные исследователи старались читать всё – пусть нарисованная мною картина слегка идеализирована.

Даже до и сразу после Первой мировой войны серьезная книга, особенно если она была написана по-немецки или по-французски, сразу становилась известной. Так, Соссюр (1867–1913), самый знаменитый лингвист в истории общего языкознания, читал лекции в Женеве и не заботился о пропаганде своих идей. После его смерти два его бывших студента по разным конспектам восстановили его курс и в 1916 году издали. Книга произвела сенсацию, и ее слава с тех пор не только не померкла, но даже выросла. В наши дни подобное посмертное чудо едва ли мыслимо. Кстати сказать, у Соссюра были выдающиеся предшественники в России, особенно И. А. Бодуэн де Куртенэ (не обращайтесь внимания на французскую фамилию), но он писал почти только по-русски и по-польски, и на Западе его «открыли» и оценили много позже, когда в этом признании большой пользы не было. Реабилитация всё же полезнее при жизни. Это только говорится, что история всех расставит по своим местам. К сожалению, у истории много других дел.

После революции два эмигранта – Н. С. Трубецкой и Р. О. Якобсон – создали почти новую область языкознания. Якобсон был не только замечательным ученым, но и превосходным организатором. По его инициативе возник Пражский лингвистический кружок, который и сделал новое направление широко известным. Тогда специалистов было не так уже много, и до них, говоря фразой Доры Штурман, можно было докричаться (особенно если хором).

Мы давно живем в совершенно иную эпоху. В Америке на университетскую должность по английской литературе приходит до двухсот заявлений. Немецкие, испанские, скандинавские, греко-латинские, русские и прочие вакансии привлекают меньше желающих, но тоже десятки, причем со всего мира. За каждым заявлением стоит вчерашний, а иногда и позавчерашний аспирант, так называемый молодой специалист. (Молодость нынче кончается утрашающе поздно.) Нелепо предполагать, что все они широко начитаны. За редкими исключениями это узкие специалисты, защитившие сверхсреднюю диссертацию и нашпигованные модными теориями. Еще хуже то, что и следить за текущей литературой часто не стоит. При таком количестве пишущих и при лозунге: «Гони печатные листы или сгинь» – уровень статей и книг не может быть высоким. Идеи приходят редко и не ко многим. Сегодняшние гуманитарные науки в основном занимаются перелицовкой старой одежды.

Конечно, прорывы возможны и в наши дни. Так, в середине прошлого века в языкознании пробился необычайно динамичный американский лингвист Хомский (Чомский), и сегодня почти все лингвисты, по крайней мере, на Западе, – его ученики, ученики его учеников и разнообразные «перелицовщики». Его успеху способствовали ультралевые политические взгляды, «штаб» в знаменитом университете и доступность новой теории, обещавшей языкознанию немедленное светлое будущее. В литературоведении вырвались вперед две школы (естественно, школы!): франкфуртская (близкая к марксизму) и французская (поначалу довольно оголтелый структурализм, потом так называемая деконструкция).

Бывают и чудеса. Потрясающий успех имел на Западе переведенный с русского М. М. Бахтин. Он достиг полубожественного статуса. По рекомендации Р. О. Якобсона в 1958 году перевели на английский «Морфологию сказки», раннюю книгу В. Я. Проппа (на родине затравленного сначала за «формализм», потом за недооценку русского вклада в науку – это уже в эпоху борьбы с безродными космополитами – и за немецкое происхождение). Тот же Якобсон попросил Клода Леви-Стросса написать рецензию на перевод. Зацикленный на собственной программе, Леви-Стросс в книге не разобрался, но он был главой тогдашних структуралистов, и его пространственный отзыв имел огромный резонанс. Книгу вскоре перевели еще на дюжину языков. На Проппа, как и на Бахтина, положено ссылаться. Ссылка – это валюта, и ее задаром не раздают. В этом же ряду замечательный психолог Л. С. Выготский.

Вначале я упомянул разобщенность гуманитариев. Она происходит по языковому признаку. Так было всегда. Долгое время, чтобы быть услышанными, ученые писали по-латыни. Потом латынь сменили французский и немецкий. В наши дни язык международного научного общения – английский, по-немецки и по-французски за пределами стран их распространения с грехом пополам читают. Но горе российскому германисту, если он пишет только по-русски. Так, например, на самые дикие советские годы пришлось деятельность А. И. Смирницкого, одного из талантливейших филологов-англистов двадцатого века. В англоязычном мире, где по его книгам могли бы учиться тысячи благодарных студентов, о его существовании почти никто не подозревает. Не знают и замечательного германиста С. Д. Кацнельсона. Ержи Курилович заслуженно знаменит, но если бы он писал свои работы только по-польски, то разделил бы судьбу Смирницкого. Жизнь несправедлива, но, как ни прискорбно, не могут же все владеть и чешским, и голландским, и японским. От уничтожения Вавилонской башни произошла только та польза, что возникли кафедры иностранных языков.

Эта громадная преамбула понадобилась мне для того, чтобы разобраться с вашей характеристикой *филолог с мировым именем*. Дожив до восьмидесяти лет, я могу вполне объективно оценить свое место в мире. Советский Союз в научном смысле (я, конечно, имею в виду гуманитарные науки) был ограниченным, замкнутым пространством: железный занавес и одинаковая для всех необходимость печататься только по-русски, даже если тема была сугубо «западной» (например, датская фонетика), отгораживали нас от остального мира. Мне повезло. Преодолев множество всем известных преград, я благодаря своему руководителю, знаменитому скандинависту М. И. Стеблин-Каменскому, сразу после защиты кандидатской диссертации (как мне удалось стать кандидатом наук – особая тема) был принят младшим научным сотрудником в Институт языкознания Академии наук. К тому же я родился и жил в Ленинграде, то есть имел заветную прописку и сколько-то квадратных метров в крупнейшем научном центре. Мои статьи иногда появлялись в главном лингвистическом журнале «Вопросы языкознания». Я участвовал во всесоюзных конференциях. Всё это давало мне определенный статус и узнаваемость.

На Западе я в первый же год чудом получил профессорское место в большом университете (английским я владел свободно). Я много печатался и ездил на конференции, как лингвистические, так и литературоведческие, часто по приглашению организаторов, то есть с пленарными докладами. Но место исследователя определяется не послужным списком и не количеством людей, которые слышали его и хвалили за красноречие («Как вы можете говорить без бумажки?»), а тем влиянием, которое он оказал на развитие науки. Как я говорил, влияние в наши дни оказывает школа, а я ни к какой «школе» не принадлежу: я сам по себе.

Широкой известностью пользуются только мои полу-популярные работы: этимологический блог, который уже больше десяти лет каждую среду появляется на сайте издательства Оксфордского университета; книга об истории слов; некоторые переводы русских стихов (особенно «Умом Россию не понять...») и, пожалуй, если судить по количеству проданных экземпляров, издание в переводе работ В. Я. Проппа (увы, мое предисловие, а не сами работы). Могу

даже раскрыть обескураживающие скобки. Еще до войны Пропп опубликовал основополагающую статью об истории смеха, и благодаря моему изданию она уже несколько десятилетий доступна по-английски, то есть всем желающим. С тех пор о смехе писали многие, но никто из них той статьи не прочел. Ссылаются (часто по инерции и не к месту) только на «Морфологию сказки», а ведь Пропп действительно филолог с мировым именем. Между «именем» и реальным влиянием на науку лежит пропасть, и через нее удастся перепрыгнуть немногим.

*ЕЦ Приехав в США, я иногда общался с Джоном Глэдом, крупным славистом, в прошлом – директором Института Кеннана по изучению России. Мы подолгу говорили по телефону. Джон Глэд подарил мне несколько своих книг. Он рассказывал о собственной работе, в частности, о том, как брал интервью у известных писателей русского зарубежья. Интервью эти составили интереснейший сборник Джона Глэда «Беседы в изгнании». Однажды он тяжело вздохнул: «Побыстрее прощайтесь с темой эмигрантских писателей. Она уходит в никуда, в тупик». Сам Джон Глэд к тому времени уже расстался с «тупиковой» темой – написал книгу о евгенике. Вспоминаю сейчас и другое его рассуждение: «Вряд ли мы можем говорить сейчас о русской литературной эмиграции в полном смысле этого понятия – раз писатели-эмигранты, как правило, публикуются в России». Продолжу эту мысль, но сформулирую ее резче: может быть, сегодня литература эмиграции – это уже миф? Есть ли у писателей зарубежья нечто общее, кроме места проживания, в частности – общая духовная платформа?»*

АЛ Боюсь, что не скажу ничего нового. До 1939 года у культурной элиты русской эмиграции была, как говорили, миссия – противостоять варварству оставленной метрополии. В этом смысле эмигранты были продолжателями Чаадаева, «Колокола» и позже социал-демократов. Сходная миссия не раз выпадала на долю изгнанников из самых разных стран в давние и новые времена. В двадцатом веке была хорошо известна немецкая литература в Америке, когда после прихода к власти Гитлера за океан переселились (часто бежали) едва ли не все выдающиеся писатели Германии. Когда на Запад попала вторая, послевоенная группа русских писателей, давняя миссия продолжилась. За рубежом оказалось некоторое количество хороших прозаиков и поэтов, и своим трудом они по мере сил спасли честь предавшей их родины. То же случилось и позже, когда на Запад вырвались или были выкинуты знаменитые диссиденты.

Но после перестройки печатать стало возможным что и где угодно. Поэтому ваш вопрос вполне закономерен. Я сомневаюсь, что у писателей, живущих за пределами бывшего Союза, есть общая духовная платформа. Да и существовала ли такая платформа, если не понимать под платформой «миссию», где-нибудь и когда-нибудь? Несколько единомышленников могут организовать группу, какой-нибудь «Арзамас», пока их не разлучит смерть и не развеет зависть или сплетня. Были, конечно, направления: импрессионисты, символисты, кубисты, а в более широком смысле классицисты, романтики и прочие, но вы-то имеете в виду нечто совсем иное. И всё же я думаю, можно обнаружить нечто, связывающее писателей-эмигрантов даже и в наши дни. Русская история – это синусоида: диктатура, хаос и снова диктатура (в преддверии очередного хаоса). Литература постоянно оказывается в тисках у цензуры и самоцензуры. На Западе же мы можем себе позволить свободу от колебаний генеральной линии. Наши журналы, те, которые «не продались большевикам», полностью независимы. Если угодно, назовите эту независимость общей духовной платформой.

*ЕЦ Давайте поговорим о мастерстве литературного критика. Вы не раз язвительно замечали: большинство рецензентов счастливо не подозревают о том, что существуют особые приемы анализа художественного текста. Вот одна из ваших реплик по этому поводу: «О стихах и прозе пишут люди, просто любящие читать и нередко сами что-то сочиняющие. Некоторые из них наделены развитым эстетическим вкусом и замечают то, чего никто другой бы не заметил, и все же на их отзывах лежит печаль утонченного дилетантизма, а*

чаще наивности. Поэтому и Белинский, и те, кто пошел по его стопам, от разночинца Чернышевского до князя Святополка-Мирского, предпочитают говорить о социальной роли литературы и об отношении искусства к действительности. А ведь именно в России возникли в XX веке лучшие литературоведческие школы в мире.

Они связаны с так называемыми формалистами и Бахтиным. Раньше них был еще Александр Веселовский... Все то, чему научили мир эти замечательные ученые, не оставило никакого следа в эмигрантской критике». Картина безотраднa. Притом, что ваше замечание относилось к статьям критиков первой и второй волн эмиграции, среди которых были яркие таланты. А что же сегодня – в эмиграции и метрополии?

АЛ По случайному стечению обстоятельств более двадцати лет тому назад я стал регулярным рецензентом нью-йоркского *Нового Журнала*. Время было уже перестроечное. Спецхран в том, что касается беллетристики, хоть Гумилев, хоть Платонов, открыл свою пасть, и даже карьера товарища Шарикова стала всеобщим достоянием. Эмигрантские издания тоже перестали быть запретным плодом и потеряли статус кладезя и источника запрещенной литературы. Поэтому мои рецензии были лишены политического жала: я не открывал никаких тайн и никого не разоблачал.

Хочу заметить, что рецензент и критик не совсем синонимы, хотя Белинский и Добролюбов эти понятия, скорее всего, не различали. Я был именно рецензентом, и мое журнальное пространство в номере ограничивалось самое большое двадцатью компьютерными страницами. На них умещалось от пяти до восьми отзывов. Материал от меня зависел мало, так как в основном я писал о книгах, которые присылали в редакцию. Всё же я доставил себе удовольствие заявить, что Пелевин пишет броскую макулатуру, хотя его сочинения никто в *Новый Журнал*, разумеется, не посылал.

Рецензий с опасливым нетерпением ждут все авторы, и я по мере сил удовлетворял эти ожидания. Было некоторое количество графоманских сочинений (стараясь никого не оскорбить, иногда я всё же мягко называл вещи своими именами) и сборников на исторические и социологические темы по-русски и по-английски. Потокотом шли стихи. О совсем уж банальной лирике про апрель-капель и любовь-вновь и о состоящей из сплошных «смелых метафор» я не писал ничего: просто ставил на полку. Но нередко попадались и хорошие книги. Я видел свою задачу не в том, чтобы похвалить или обругать, а чтобы дать по возможности объективную оценку прочитанному и считал недопустимым всяческие эмоциональные всплески, будь то праведный гнев или непомерный восторг.

«Должность» (разумеется, неоплачиваемая) была для меня новой, но пришел я к ней подготовленным, потому что задолго до того успел написать множество научных рецензий, а до отъезда из России еще и некоторое количество рекомендаций в издательства (принимать ли перевод той или иной иностранной книги, достойна ли некоторая рукопись опубликования и т. п.). К тому же литературоведение и история литературы входили в круг моих профессиональных интересов. От рецензента в отличие от критика требуется и банальная информация: о чем книга, для какой аудитории она предназначена, что известно об авторе и прочее. Эти сведения я, разумеется, поставлял бесперебойно.

Если меня кто-то «боялся», то потому лишь, что я не считал нужным всех подряд уверять, что их поделки – венец творения, даже в тех случаях, когда таково было мнение окружающих. Например, я говорил, что если ради задуманной развязки героя приходится убить в автомобильной катастрофе, то сюжет беспомощен, ибо от выпущенных из бутылки персонажей избавиться невозможно. «Но в жизни же такое бывает», – возражали мне. Я объяснял, что жизнь – это одно, а литература – совсем иное. К сожалению, люди, вскормленные наивным реализмом, только пожимали плечами. Еще я говорил, что интерес к сочинению падает, если автор из рассказа в рассказ использует одни и те же предсказуемые ходы; что для писания стихов желательно владеть литературной нормой (ударения у многих поэтов чудовищны,

а различий между *не* и *ни* не ведают и прозаики, будто никто не ходил в шестой класс). Всё это критика на самом примитивном, самом элементарном уровне.

Начало моей деятельности в *Новом Журнале* было идиллическим (меня любили и жаловали), но по прошествии ряда лет редактор, когда-то и пригласивший меня, стал без всякого повода провоцировать один конфликт за другим. Дело дошло до разрыва сверхдружеских в прошлом отношений, и я был изгнан, причем среди людей, еще вчера только что не бросавшихся мне на шею, не нашлось никого, кто бы проголосовал против отлучения. Узнав от меня об этих неурядицах, В. С. Батшев, редактор *Мостов* и *Литературного европейца* (Франкфурт-на-Майне), сразу же пригласил меня вести такой же раздел у него. В *Мосты* я и посылаю рецензии с 2006 года.

Естественно, я с интересом читаю критические заметки в разных журналах. Мне кажется (и это я говорю в ответ на ваш вопрос), что в нынешней эмиграции серьезной критики нет. Есть эпизодические отзывы и краткие рецензии, но почти нет людей, которые бы регулярно и, главное, профессионально, как это делают литературоведы, оценивали появляющуюся в России и за ее пределами поэзию и прозу. Среди нас они, может быть, и нашлись бы, но эмигрантские журналы ничего не платят, а на одном энтузиазме не проживешь. Я прочитываю около десяти тысяч страниц в год. «Выход в граммах» (помните такое ресторанное выражение из нашего прошлого? В Америке считают унции) – восемьдесят компьютерных страниц; в печатном варианте получается меньше. Зачем я это делаю? Обратной связи почти никакой. За двадцать лет я не получил и двадцати писем от читателей. Ответ, видимо, один: мне нравится писать рецензии. Но у меня постоянный источник существования (университетская ставка), и я могу позволить себе подобную роскошь. Таких счастливцев мало. А для самовыражения критика не лучший жанр, ибо она живет отраженным светом.

С точки зрения российской литературы мы периферия, и сегодня критику из-за рубежа трудно стать властителем дум, хотя бы потому, что голоса его почти никто там не слышит. Что Прилепину, Пелевину, Петрушевской, Быкову или Токаревой мое мнение? Вряд ли оно до них и дошло. Но если изменятся обстоятельства (синусоида, она синусоида и есть), то и в критике ситуация может стать иной. В принципе, то же можно сказать обо всей эмигрантской литературе. Ее статус частично зависит от политики. Бесконечно обсуждается вопрос, едина ли русская литература и была ли таковой при советской власти. Мне эта схоластическая дискуссия напоминает разговор о том, сколько в мире английских языков. Хотя сторонники мультикультуризма давно придумали уродливое множественное число *Englishes* и даже завели журнал с таким названием, всё же новозеландец, например, нуждается в переводчике, когда попадает в Рим или в Каир, а не в Манчестер или Даллас, при том что понимание бывает весьма затруднено.

Если эмигрантская литература – это книги, написанные эмигрантами, пусть нынче и издаваемые в Москве, то ее отмечает особый диалект. Я имею в виду именно эмигрантов, а не тех, кто подолгу живет за границей, как жили Гоголь, Жуковский, Тютчев и Тургенев. Эмигранты – постоянные жители Израиля, США, Германии и т. д. У них и привычки (часто ими самими неосознаваемые), и опыт принципиально отличны от привычек и опыта россиян. Их дети, не говоря уже о внуках, учились или учатся в школах и колледжах с программами и установками, порой ничем не напоминающими российские. Как ни пристально даже старшее поколение следит за Путиным, – Трамп, Меркель и прочие важнее для них. Если в этой среде появляется серьезный писатель, пусть такой, который пишет о прошлом, у него уже иной взгляд на мир и на это прошлое. Темные аллеи видятся издали не так, как вблизи: освещение иное.

В Америке вроде бы никто, кроме специалистов по Джеку Лондону, не читал романа «Мартин Иден», а мы оба читали. Если помните, Мартин, уже опустошенный и несчастный, решил встретиться со старыми друзьями-матросами в надежде, что в столь милой по воспоминаниям обстановке возродится к жизни, но не испытал ничего, кроме раздражения и скуки. И

матросам он был почти не нужен. Эмигрантский критик смотрит на эмигрантскую литературу изнутри, а российскую видит глазами постороннего, и в обоих случаях его взгляд может быть ценен. Другое дело, что дети эмигрантов – это уже в большинстве своем не русскоязычный народ, и русская литература – последнее, что их заботит. Но мы-то пока еще живы.

ЕЦ *Недавно появился цикл ваших статей о тетралогии Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели». В чем новизна взгляда Сарнова? Ведь уже достаточно сказано о том, как Сталин уничтожал лучших писателей СССР: одних лишил жизни, отправил в лагеря, других – растлил нравственно, третьи – задохнулись, потеряли индивидуальность в атмосфере всеобщего страха. Есть, наконец, глубокая книга Евгения Громова об эстетических взглядах Сталина.*

АЛ Этот цикл был опубликован во франкфуртских *Мостах*. Я не думаю, что Сарнов сказал что-нибудь новое (то же относится к его увлекательной книге «Советский новояз»), но он превосходно обобщил гигантский материал, осветил его своим пониманием давнишних событий и рассказал всё умно и доходчиво. Он нашел убедительную композицию: сначала идут документы об отношении Сталина к тому или иному писателю, а потом мы узнаём о реакции дрессированной «общественности» и судьбе жертвы (хозяин ведь мог сменить гнев на милость или обронить таинственную фразу). Затем следуют комментарии. Картина получилась впечатляющей, и четыре огромных тома – достойный венец его карьеры. Жутко лишь идти вслед за ним по выжженной земле и остаться с чернымobeliskом на месте того, что было цветущим садом.

ЕЦ *С вашей помощью заговорили по-английски Лермонтов, Тютчев и Боратынский. Толстые тома, столь необходимые в этом случае огромные комментарии, хвалебные отзывы прессы. Но скажите: слышны ли их голоса – голоса русских национальных поэтов позапрошлого века – в сегодняшнем литературном многоголосье США?*

АЛ Боратынский пока говорит почти только со мной: книга абсолютно готова, но я еще не нашел издателя. Лермонтова и Тютчева переводили неоднократно; Боратынского стали переводить всерьез недавно. Мне кажется, что мои переводы более «адекватны». В сегодняшнем многоголосье США поэтов прошлого практически нет. Великих англичан (Байрона, Шелли, Китса и поэтов Озерной школы) немного читают только студенты и аспиранты, но и они с трудом сдерживают зевоту. О единицах, которые пишут об этих авторах диссертации, разговора, конечно, нет. То же относится к невероятно популярному когда-то американцу Лонгфелло, автору «Песни о Гайавате», и даже Эдгару По, из которого помнят одну строку.

Пусть сказанное здесь никого не удивляет. Может быть, вы знаете многих в России, кто бы для отдыха или вдохновения садился вечером с томиком Фета, Анненского или даже Блока? (Специалисты опять же не в счет.) Не будь школьных программ, и Пушкина с Лермонтовым бы почти никто не читал. Англоязычный мир давно отвык от рифмованных стихов. Мои переводы, как обзоры: они нужны очень немногим, но, не принося никакого дохода, доставляют мне огромную радость, а вреда никому не причиняют. Едва ли можно что-нибудь возразить против такого умеренно гедонистического взгляда на жизнь.

«Лермонтов» был замечен, потому что имя узнаваемо: «Герой нашего времени» художественно известен на Западе, а о Тютчеве кто же там слышал, кроме русистов-профессионалов? Рецензии, впрочем, были сплошь хвалебными. Да, и возвращаясь к России, многие ли там знают из Тютчева что-нибудь, кроме двух стихотворений, включенных в детские хрестоматии, и «Умом Россию не понять»? Мои переводы так и останутся откровением для студентов.

ЕЦ *В издательстве «Языки славянских культур» вышли сонеты Шекспира в вашем переводе. Вы работали над ними почти сорок лет: первые ваши переводы сонетов появились в журнале Север еще до вашей эмиграции. Чем так настойчиво притягивает вас Шекспир?*

АЛ ... Не то, чтобы «работал», а переводил урывками полжизни, и, только когда увидел, что осталось не так много, довел до конца. Есть поэты, которые, чем старше становишься, тем ближе они делаются. Таков Пушкин. Таков и Шекспир. В молодости я, как все, восхищался его звонкими и броскими сонетами (в России ведь культ 66-ого: его переводили несметное количество раз); повзрослев, я оценил самые темные, самые трагические из них. В переводе все они много теряют из-за отдаленности эпохи, невоспроизводимой архаичности языка, который, конечно, тогда не был архаичным, и нерасшифровываемости многих намеков. Подобно всем моим предшественникам, я надеялся, что передам красоту и дух сонетов лучше других. Не мне судить, достиг ли я своей цели. Книга вышла в 2016 году. Ей предшествовала моя статья «Как переводить сонеты Шекспира?» в «Вестнике МГУ». Ни на статью, ни на книгу не было, насколько мне известно, ни одного отзыва.

*ЕЦ В своих мемуарных заметках вы создали своеобразный портрет академической Америки. У меня не раз возникал вопрос – удобно ли вам существовать в этой необычной нише?*

АЛ Ниша для того и существует, чтобы чувствовать себя в ней уютно. Помните Карла Ивановича, воспитателя Николеньки Иртеньева? Он слушал, молчал, пил свою рюмочку, курил свою трубочку. Так и я, разве что никогда не курил, а молчу не всегда. Соединенные Штаты – большая страна. По университетам ходят толпы опьяненных своими прогрессивными взглядами преподавателей и студентов, а кое-кто вроде меня держится от этой толпы подальше. Я в нише, а не в футляре. Студенты охотно записываются на мои курсы, на которые в зависимости от предмета приходят от десяти до 170 человек, и у меня с ними всегда хороший контакт. Я без стеснения рассказываю им о вещах, о которых не знают или молчат другие, и часто оказывается, что моя ниша не так тесна, как может показаться: многие молодые люди становятся моими соседями.

Я с грустью смотрю на оскудение, я бы даже сказал одичание, современной лингвистики. К счастью, я занимаюсь историческим языкознанием, а в этой области дышать почти можно. То же относится к истории литературы, мифам и фольклору. Кроме того, здесь ведь не Советский Союз, и в тюрьму за академическое инакомыслие в гуманитарной области не сажают. Правда, и на работу не возьмут: кому нужен диссидент, возмутитель спокойствия? Но мне повезло, как везло не раз и не два: мои темы далеки от политики, а контракт у меня постоянный. Я всегда верил, что есть на небе ангел, который озабочен и моей судьбой: не пускал туда, куда я рвался по глупости; открывал, казалось бы, намертво запертую дверь; в самый неожиданный момент осеял нужной идеей. В отличие от Карла Ивановича, который был несчастен уже в утробе своей матери, я очень счастливый человек.

*ЕЦ Анатолий Симонович, спасибо вам за доверие: вот уже в течение нескольких лет вы знакомите меня с главами еще не законченной вами книги «Отец и сын». Книга постепенно вырастает из дневников, которые вы вели долгие годы. Шаг за шагом – с рожденья и до юности – вы проследживаете формирование личности вашего сына. К книге наверняка обратятся психологи и педагоги. А какую задачу ставили перед собой вы?*

АЛ Никакой задачи не ставил. Просто мне было интересно вести этот дневник. Мысль о книге возникла несколько лет тому назад, когда я задумался, что же делать с этой кипой толстых тетрадей. Их ведь даже герой повествования не прочтет! Точку я в полностью готовой книге поставил на том дне, когда сын поступил в университет и уехал из дому, а записи я вел еще много лет. Всего интереснее детство и отрочество. Другое дело, если бы из мальчика вырос Моцарт, но Моцарт не вырос, и мировых рекордов он не побил. Книга может найти аудиторию, а может провалиться в ту же яму, что и «Сонеты». Кто же нынче без «раскрутки» читает художественную литературу?

ЕЦ В одной из автобиографий вы шутиливо заметили: «У меня нет решительно никаких *hobby* (вся жизнь – сплошное *hobby*). Я женат, и мой единственный сын – адвокат в крупной нью-йоркской фирме. В Белой армии, увы, не служил, но родственников за границей (в бывшем СССР) все ещё в некотором количестве имею. От оккупации же спас Бог, не спаси отца от гибели на фронте в 1941 году». Давайте еще побудем в вашем семейном кругу. Откроем семейный альбом?

АЛ В семейном альбоме нет почти ничего интересного. Отец погиб на Ленинградском фронте, когда мне было четыре года. Тогда мне подарили ружье, которое ничем не стреляло, но я рвался «на войну». Остались фотографии, где я, совсем маленький, с отцом (он держит меня за руку), и никогда не прошедшая тоска – не по нему реальному, которого я не знал, а по тому, который мог бы у меня быть. Наверно, из-за этого я так рьяно пестовал своего единственного сына, заменяя последнее слово в изречении: «Плохо ребенку без матери», – на *отца*.

Я рос сыном вдовы (за этой фразой стоит многое), но с обеих сторон была большая семья. Об одной-двух фотографиях, пожалуй, стоит рассказать. Для бездетной сестры моей матери я был, как сын, и я платил ей взаимностью. Ее мужу, выдающемуся хирургу-окулисту, тоже приходилось терпеть меня. Я часто (по необходимости) проводил у них время после школы, мешал и смертельно надоедал ему. Конечно, и он с женой жил в одной комнате в коммунальной квартире. Но именно он решал со мной кроссворды из «Огонька» и научил меня немного плавать, так как летом мы с матерью неизменно составляли им компанию, и он привык к мысли об этом бремени, как привыкли мы тогда все к билетам в нагрузку. Он же много лет водил меня по воскресеньям в Эрмитаж, пока в разгар борьбы с космополитами его не сослали в Казахстан (всё же не на лесоповал, а по специальности), где вскоре умерла его жена. Позже я ходил в Эрмитаж либо сам, либо со скупающими девушками и до сих пор помню, где висит какая картина.

Привычка сделала свое дело. Тетрадка с моими детскими стихами хранилась у них, и дядя не без гордости читал своим знакомым мои патриотические поэмы. Те смеялись и предсказывали мне великое будущее. Дядю особенно веселила фраза: «Хотя и закрыли навеки / Герои-бойцы свои веки». Он не мог предположить, как часто я потом встречу эту рифму у почтенных поэтов. Еще больше он радовался, когда через тридцать лет узнал, что я хорошо устроился в Америке. Он и сам всю жизнь мечтал об эмиграции. Его родная сестра, кажется, вскоре после гражданской войны или даже раньше уехала в Палестину, и я помню начало письма ее сына (в переводе с иврита): «Дорогой незнакомый дядя!» Потом переписку пришлось навсегда прекратить. Дядя умер в полном одиночестве, задолго до постигшей его катастрофы предсказав свою слепоту.

Конечно, главным человеком была мать, школьная учительница музыки. Вполне хорошо играл на рояле и я, но учился не у нее. С ней же (нередко вместе с тетей) я ходил на оперы, балеты и в филармонию. Племянник своего дяди, я на «Иоланте» спросил, что за болезнь у героини: катаракта или глаукома. Мама прожила долгую жизнь и умерла уже в Миннеаполисе, впервые оказавшись в своей квартире с телефоном.

А рядом в альбоме еще один дядя, уже с отцовской стороны и тоже не родной. Он был юристом. Учился в Швейцарии, попал в лагерь за то, что, не выезжая из Ленинграда, ухитрился, оказывается, подписать невыгодный для страны договор в Лондоне. Так звучало обвинение. Его вызволили люди, которые вскоре сгинули сами. Если бы его посадили позже, он бы никогда не вернулся домой, где с него даже успели снять судимость. Его единственный сын погиб на фронте. Всю жизнь я видел увеличенную фотографию юноши на стене их квартиры. Муж старшей сестры, этот дядя был центром притяжения для всей родни, пережившей войну. Мы очень подружились, когда я вырос. Большой любитель живописи, и он изредка составлял мне компанию в Эрмитаже. Он единственный, о ком я вспоминаю не только с грустью, но с нежностью, удивляющей меня, так как совершенно несентиментален.

Непохожим на других и по-своему замечательным человеком был мой тесть. Он пережил все войны, хотя и в тылу, но в условиях поистине нечеловеческих. Сирота из еврейского местечка, он упорно не давал судьбе сломить себя, стал серьезным ученым (не в гуманитарной области), видевшем дальше и глубже, чем многие. Его охотно и весело травили, и он трижды начинал писать новую диссертацию, которую, наконец, и защитил. А дальше двоюродные братья, кузины, тетки, их мужья, мои племянники. Кое-кто оставил заметный след в моей жизни. Альбом, как у многих. Сын, кстати, давно уже работает во Флориде. О жене не говорю: она, как часть меня самого.

*ЕЦ Однажды в нашем разговоре вы обронили, обращаясь мысленно к советскому прошлому: «Жизнь была столь скудна, что и вспомнить не о чем...» Тем не менее в своих мемуарных заметках, которые время от времени появляются в печати, вы вспомнили о многом. Но, скажите, Анатолий Симонович, о чем вам не хочется вспоминать?*

АЛ Я страдаю редким пороком: полным отсутствием ностальгии. Но если уж ответить на ваш антиностальгический вопрос, то, отвлекаясь от горя безотцовщины, скажу, что мне ненавистно мое нищее отрочество, когда я к тому же в полной мере испытал прелести антисемитской вакханалии в школе; безденежье и убогую одежду до взрослых лет; замену в Гороно золотой медали на серебряную (спасибо, что хоть эту дали; в те времена обе позволяли поступить в любой институт без экзаменов); отказ Ленинградского университета несмотря на медаль принять меня на филфак, а потом Герценовского института – взять в аспирантуру, хотя я кончил первым по списку в большом курсе (и, стыдно сказать, был на четвертом курсе Сталинским стипендиатом – на следующий год у меня эту стипендию отняли, чтобы не пустить в Англию); комиссию в военкомате, которую надо было проходить голым (но меня не призвали из-за сильной близорукости); вечную беготню по урокам (английский язык); собрание на работе, ритуально осудившее меня за эмиграцию; весь позор и всё убожество советского быта и, увы, не в последнюю очередь на протяжении затянувшейся юности неутолимый половой голод, только в тех условиях и мыслимый, когда личная жизнь проходила на лестничных площадках и в подворотнях. Что говорить! Я вырос и сформировался там и, размышляя о прошлом, рад, что не увидел свет в Бруклине или Скоках (Скоки – это пригород Чикаго), ибо (простите за нарциссизм) нравлюсь себе таким, какой я есть, но я счастлив, что в возрасте тридцати восьми лет уехал оттуда и прожил вторую жизнь, о которой и мечтать не смел, «когда был еще гадким утенком».

*Июль-октябрь 2017*

## Путник (Аб Мише)

В начале девяносто второго года в Иерусалиме мела метель. Такой зимы не знали здесь лет сто. Пешеходы тонули в сугробах, машины выдывали на дорогах пируэты, ураган легко надламывал пальмы. В те дни я читал рукопись, которая, как и метель, возвращала меня в Россию. На первой странице стояло: Аб Мише, «Черновой вариант». Автором был недавний репатриант из Москвы – в миру его звали Анатолий Абрамович Кардаш.

Произведение это, не похожее ни на какие другие, имело и свою – необычную – судьбу. Рукопись еще не была издана отдельной книгой, но о ней знали многие. Сначала «Черновой вариант» приобрел известность в «самиздате», потом – в отрывках – начал «гулять» по страницам российских и израильских изданий. Наконец, знаменитый литературный критик Лев Аннинский опубликовал о рукописи (!) Аб Мише большую и, как всегда, яркую статью в одном из московских журналов. Там были такие слова: «...огромное, фундаментальное исследование еврейского вопроса, затрагивающее все области гуманитарного знания и все этапы тысячелетней диаспоры».

Признаюсь: мне непросто сейчас представить читателю произведение Аб Мише. Непросто передать дерзкий замысел автора. Начну с того, что сразу бросалось в глаза и, конечно, удивляло, настораживало. Многие главы «Чернового варианта» почти целиком состоят из... цитат. Причем, иногда эти выписки очень длинны – занимают по несколько страниц, текут себе привольно, прерываясь лишь кратким (в одно-два-три предложения) комментарием автора. Может быть, перед нами хрестоматия? – спрашивал я себя. Нет, это не так. Цитаты здесь совсем не нейтральны: порой продолжая друг друга, они чаще спорят между собой. Книга-диспут? Однако и это не точно. Тем более, что нередко скрепляет цитаты не проблема, идея, но какая-то ассоциация, не сразу понятная читателю, какой-то образ, промелькнувший в авторской памяти.

Однажды я догадался: Аб Мише написал исповедь. Да, исповедь, которая построена очень непривычно для нас. Автор нередко говорит с помощью чужих слов, но выражает выстраданное, свое.

Наверное, кому-то покажется, что здесь есть противоречие между главной сутью этого повествования и его литературной формой. Противоречия нет. Ведь перед нами – хроника «расследования» еврейской истории. Или даже так: дневник познания истории человечества через призму еврейской судьбы. Субъективность взгляда не только не отменяет, но предполагает особую точность в изложении материала. Конечно, «итоги» расследования как бы заранее известны, но Аб Мише должен был перепроверить их для себя. Не каждый решится, думал я: за формулами ученых, цифрами, политическими программами, сбивчивостью писем – кровь. Аб Мише решился.

Почему и как он однажды пришел к мысли начать свое расследование? Ответ, по-моему, очевиден. Анатолий Кардаш, как и все мы, принадлежал к «безмолвному» советскому еврейству. Жили: забывая родной язык, не зная традиций, теряя национальную культуру. Но, как известно, исход из египетского плена регулярно повторяется в еврейской истории. Процесс этот всегда начинается не только с подвига вожаков, но и с попыток отдельной личности познать самое себя – корни, дальнее и близкое прошлое. С попытки победить в себе раба. Конечно, такой процесс самоосмысления необходим и народу в целом, если только тот хочет выжить, обрести новое дыхание.

Итак, путь в символическую «пустыню». Где прошел он для Аб Мише? Перед читателем – Древняя Греция и Рим, Египет, Испания, Португалия, Франция, Германия, Польша... Но

если говорить точнее, первая и главная остановка в этом маршруте – Страна Антисемития. Вот ее контуры: «универсальная система ненависти», границы – «вне географии и этнографии», легко проходят «по землям, по душам». Ничуть не стараясь упрощать, Аб Мише анатомировал эту систему. Выделил фундаментальные основы: идеология, история, право. Рассмотрел формы и технику осуществления, области «применения» и проявления: наука, здравоохранение, культура, любовь, развлечения, школа (конечно, в некоторые понятия автор заранее вкладывает иронический смысл). Аб Мише взгляделся и в лица: вожди, сподвижники, элита, рядовые... Да, огромная страна: в сущности, начало ее положено Каином (извечные «семена зла»). Главные же законы жизни этой страны евреи помнят едва ли не генами: всегда и во всем виноват чужой, беззащитный, чаще всего – еврей. А потому, путешествуя по разным векам, Аб Мише обнаружит одно и то же: «...кровь зарезанных стояла в синагоге повыше порогов». А потому: «Такой-то город взят – погром. Такое-то местечко потеряно – погром. По дороге наступления – погром. По пути отступления – погром».

Симптоматично, что «загадка» антисемитизма мучает прежде всего самих евреев: наиболее совестливые в порыве самобичевания пытаются найти хоть какую-то правоту у оппонентов, понять хоть какие-то доводы своих гонителей (здесь и причина кажущегося таинственным еврейского антисемитизма). Напрасные терзания! – многократно убеждался Аб Мише. Ведь антисемитизм, в конце концов, – это не проблема самих евреев. Это – взгляд на мир, своеобразная лакмусовая бумажка человечества. Антисемитизм, – говорил Жан-Поль Сартр, которого так любит цитировать Аб Мише, – это «страх перед проблемами человеческого существования», страх «самого себя, своего сознания, своей свободы, своих инстинктов, своей ответственности, одиночества, перемен, общества и мира – одним словом, всего, только не евреев». Причем «страсть к антисемитизму нисколько не требует стимуляции извне: она опережает события, которые могли бы ее спровоцировать, она сама их изобретает, чтобы получить возможность найти в них для себя пищу...» История легко подтверждает и другую мысль Сартра: хотя образ еврея наиболее удобен для антисемита, фобия допускает замену – функцию евреев могут выполнять интеллигенты, негры, армяне, цыгане... (сегодня на развалинах советской империи мы видим многовариантность выбора!).

Ведя поиск истины в лабиринтах переменчивой, однако неизменно жестокой по отношению к евреям истории, Аб Мише задумывался о психологии времени и – психологии отдельной личности. Праведника и подлеца, убийцы и жертвы, героя и того, кто так хотел остаться в стороне. Аб Мише умеет почувствовать психологию даже в повороте фразы, в умолчании, оговорке. Поучительно наблюдать вместе с автором плетение словесных кружев, когда государственные мужи виртуозно меняют «точки зрения» на еврейский вопрос. Или – следить за тем, как попадают в паутину антисемитизма ученые, писатели. Если говорить о мастерстве психологического письма Аб Мише, нельзя не вспомнить главу «Фото». Вся глава – семьдесят машинописных страниц – это уже не подлинная, но мнимая цитата. Искусная имитация, за которой – безыскусная, страшная правда. Погрузившись в документальный материал, Аб Мише реконструировал строй мысли и речи одной из безымянных участниц восстания в Варшавском гетто. Мы как бы глядяемся в фотографию, обошедшую потом мир: девушка в мужской кепке, распахнутом пальто, дешевых бусах; рядом – эсэсовец, который целится в нее из автомата. Где-то невдалеке другой: хочет запечатлеть эту сцену – на «долгую память»? Вот-вот ее убьют. Но за несколько минут до смерти она расскажет будущему о себе и своих товарищах. «Я говорю сейчас их голосами... Я не выдумываю ни одного факта, ничего не прибавлю, не украшу для занимательности – я не совру, не имею права, да у меня просто нет времени на сочинительство, даже поправить сбившуюся кепку мне некогда. Только бы успеть, пока этот тип возится с фотоаппаратом...»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.